



Юай Чоксахват

Реестр пустых людей.

Юай Чоксахват
Реестр пустых людей.

«Автор»

2026

Чоксахват Ю.

Реестр пустых людей. / Ю. Чоксахват — «Автор», 2026

В провинциальный город приезжает человек, который слишком быстро становится своим для чиновников, предпринимателей и хозяев старых связей. Он вежлив, внимателен и задаёт странные вопросы о людях, которых вроде бы уже нет. В бумагах, реестрах и закрытых кабинетах он видит то, что другие привыкли не замечать: пустые имена, мёртвые записи, живую выгоду и целый город, где каждый торгует не только имуществом, но и совестью. «Реестр пустых людей» — сатирический роман о бюрократии, жадности и мире, в котором документы иногда оказываются живее людей.

Юай Чоксахват

Реестр пустых людей.

Реестр пустых людей
Yuai Choksahwat
Серия «Книга времени»

Глава первая

Въехала в ворота гостиницы небольшая рессорная бричка, типичная для холостяков: отставных подполковников, штабс-капитанов, помещиков с сотней душ крестьян. Внутри сидел мужчина средних лет, не красавец, но и не дурной наружности. Он был ни слишком толст, ни слишком худ; нельзя сказать, что он стар, но и совсем молодым не выглядел. Его въезд не вызвал никакого шума в городе: только два русских мужика у кабака напротив гостиницы заметили экипаж. «Вишь ты, — сказал один другому, — какое колесо! Думаешь, доедет ли это колесо до Москвы или не дойдет?» — «Дойдет», — ответил второй. «А до Казани-то, я думаю, не дойдет?» — «Не дойдет», — отвечал второй. И разговор закончился.

Когда бричка подъехала к гостинице, на улице встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, очень узких и коротких, во фраке с модными покушениями, из-под которого виднелась манишка с тульской булавкой и маленьким пистолетом. Молодой человек повернулся назад, посмотрел на экипаж, придержал картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Трактирный слуга или половой, как их называют в русских трактирах, встретил господина. Он был живым и вертлявым до такой степени, что его лицо было трудно рассмотреть. Выбежав проворно с салфеткой в руке, он оказался высоким и одет в длинный демикотонный сюртук со спинкою чуть не на самом затылке. Волосы его встряхнулись, и он повел господина по деревянной галерее, показывая ему покой, известного рода, так как гостиница была известного рода.

Покой был известного рода: гостиница была известного рода. Она была типичная для губернских городов, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими из всех углов, как чернослив, и дверь в соседнее помещение, всегда заставленной комодом. Сосед был молчаливым и спокойным человеком, но чрезвычайно любопытным, интересующимся всеми подробностями проезжающего.

Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинной, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою. Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше сказать, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара, если бы один самовар не был с черною как смоль бороною.

Пока новый постоялец осматривал свою комнату, его вещи начали появляться: сначала чемодан из белой кожи, немного потертый и видимо не в первый раз отправленный в путь. Его принес кучер Селифан – низкорослый человек в тулупчике, а лакей Петрушка, молодой парень лет тридцати, в старом сюртуке, явно барского происхождения. Петрушка был немного суров на вид, с крупными губами и носом.

За чемоданом последовал маленький деревянный ларец красного дерева, украшенный штучными выкладками из карельской березы, несколько сапожных колодок и жареная курица, завернутая в синюю бумагу. Когда все это было расставлено по местам, Селифан отправился на конюшню возиться с лошадьми, а Петрушка занялся укладыванием своей шинели в маленькой

передней – темной и узкой комнатке, где уже стояла его собственная шинель, принесшая с собой какой-то особый запах. С ней он притащил еще мешок с лакейским туалетом.

Петрушка прикрепил к стене узкую трехногую кровать и накрыл ее чем-то похожим на тюфяк – плоским, как блин, и возможно даже немного замасленным. Этот тюфяк он смог вытребовать у хозяина гостиницы, который, видимо, не стал возражать против такого маленького поблажки своему лакею.

Глава 3: Город

Покамест слуги управлялись и возились, Павел Иванович Чичиков отправился в общую залу трактира "Россия". Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо. Те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими — ведь купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю. Тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками — словом, все то же, что и везде. Только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, какие читатель, верно, никогда не видывал.

Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везущих их курьеров. Чичиков скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную радужных цветов косынку — такую же, какую женатым приготавливает своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться. Холостым же он не мог сказать кто делает такие косынки; он никогда не носил таких косынок.

Размотавши косынку, Чичиков велел подать себе обед. Пока ему подавались разные обычные в трактирах блюда — щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок — он заставил полового рассказывать всякий вздор: о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин. Половой, по обыкновению, отвечал: "О, большой, сударь, мошенник".

Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайной точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника. Но еще с большею точностью, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных какие-либо лихорадок, оспы и тому подобного. Все так обстоятельно и с такой точностью, что показывало более, чем одно простое любопытство.

В приемах своих Чичиков имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-моему, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямлялся почтительнее и, нагнув с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего?

После обеда Чичиков выкушал чашку кофе и сел на диван, подложив себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой

номер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнув, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: "Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям".

Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город. Как казалось, он был удовлетворен: город никак не уступал другим губернским городам. Желтая краска на каменных домах была в глаза; серая на деревянных скромно темнела. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином — очень красивым по мнению губернских архитекторов.

Местами эти дома казались затерянными среди широкой улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, где-то с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картами, фуражками и надписью: "Иностранец Василий Федоров"; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в которые одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: "И вот заведение".

Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованной толстой рыбой и воткнутой в неё вилкой. Чаще всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконической надписью: "Питейный дом". Мостовая была плоховата.

Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зелёной масляной краской. Впрочем, хотя эти деревья были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что "город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день", и что при этом "было очень умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику".

Расспросив подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посередине города. Дорогою оторвал прибегую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитать её хорошенько. Посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке; ещё раз окинув все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою.

Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес её к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова; прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления. Потом переверотил на другую сторону: узнать, нет ли и там чего-нибудь; но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось.

День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в некоторых местах обширного русского государства.

Весь следующий день был занят визитами; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Он посетил губернатора, который оказался не таким уж и толстым или тонким: на шее у него была Анна, а говорили даже, что он был представлен к звезде.[1 - Звезда — орден Станислава.] Однако он оказался большим добряком и иногда даже вышивал по тюлю. Затем приезжий отправился к вице-губернатору, затем увиделся с прокурором, председателем палаты, полицеймейстером, откупщиком и начальником над казенными фабриками... Жаль только, что несколько трудно было запомнить всех этих важных людей. Но достаточно сказать, что приезжий проявил необыкновенную активность по поводу визитов: он даже явился засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, но больше в городе не осталось чиновников.

В разговорах с этими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору он намекнул как-то вскользь, что приезжая в его губернию, словно попадаешь в рай: дороги здесь бархатные, а правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру он сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статскими советниками, он даже ошибочно дважды произнес: «ваше превосходительство», что очень понравилось им. Следствием этого стало то, что губернатор пригласил его к себе на домашнюю вечеринку того же дня, а прочие чиновники тоже, с своей стороны, пригласили на обед, бостончик или даже просто на чашку чая.

Москва 2023 года. Время войны, эпидемий и растущей напряженности. На улицах города можно встретить людей в масках, а в воздухе витает запах дезинфицирующих средств. Среди них приезжий, который, как кажется, избегает говорить о себе много. Если он и говорит, то только общими местами с заметной скромностью. Разговор его часто принимает книжные обороты: что он незначущий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились; что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, даже пытался убить его, и что теперь, желая успокоиться, ищет место для жительства. Прибыв в этот город, он почтительно отправил сообщение первым сановникам губернии через Telegram.

Приготовление к вечеринке заняло больше двух часов времени. В тайниках его квартиры, расположенной на окраине города, приезжий прошел через все процедуры ухода за собой: подмыл обе щеки с помощью языка, затем долго вытирал лицо полотенцем, взятым из трактира. Потом надел манишку перед зеркалом и аккуратно выщипнул два волоска из носа. Вскоре он был одет в фрак брусничного цвета с ярким галуном, который придавал ему вид человека важного.

Покатившись на своем экипаже по бесконечно широким улицам города, освещенным тусклыми огоньками фонарей и свечей, Чичиков заметил, что губернаторский дом был особенно ярко освещен. Коляски с фонарями стояли перед подъездом, жандармы стояли на постах, форейторы кричали вдалеке. Входя в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза из-за блеска от свечей, ламп и дамских платьев. Все было залито светом.

Чичиков осмотрелся вокруг: многие дамы были хорошо одеты по последней моде, другие же оделись во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь были двух видов: тоненькие, которые увивались около дам; и толстые, такие как Чичиков сам, не слишком толстые, но и не тонкие. Эти косились от дам и посматривали только по сторонам, не расставляя ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста.

Лица у них были полные и круглые, на некоторых даже были бородавки. Волосы они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер "черт меня побери", как говорят французы — волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе.

Толстые мужчины, как Чичиков заметил, умеют лучше обдeldывать дела своей жизни. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними.

Чичиков познакомился с обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим Собакевичем. Первый был человеком серьезным и молчаливым, а второй — остряком и философом. Они приветствовали его как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, не без приятности.

Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному.

Почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнюю губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая: "Пошла, старая попадьа!" или "Пошел, тамбовский мужик!". А председатель приговаривал: "А я его по усам! А я ее по усам!"

Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: "А! была не была, не с чего, так с бубен!" или просто восклицания: "черви! червоточина! пикенция! или: "пикендрас! пичуру-щух! пичура!" и даже просто: "пичук!". Эти названия перекрестили они масти в своем обществе.

По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Чичиков также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: "вы пошли", но: "вы изволили пойти", "я имел честь покрыть вашу двойку" и тому подобное.

Чичиков особенно интересовался помещиками Маниловым и Собакевичем. Он тотчас же осведомился о них, отозвав председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; он расспросил их о количестве душ крестьян и положении их имений, а потом уже осведомился об имени и отчестве.

Чичиков быстро очаровал Манилова. Тот очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой было всего пятнадцать верст от городской заставы. Чичиков с вежливым наклоном головы и искренним пожатием руки ответил, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг.

Собакевич также сказал несколько лаконически: "И ко мне прошу", шаркнув ногою в сапоге исполинского размера.

На следующий день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за каждой картой, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замазленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу он приезжал только чтобы заснуть.

Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал себя опытным светским человеком. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держаться. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует.

Словом, куда ни повернись — был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, сложилось среди жителей города и сохранялось до тех пор, пока одно странное свойство гостя и его предприятие — или как говорят в провинции, пассаж, о котором читатель скоро узнает, — не привели почти всех горожан в совершенное недоумение.

Глава вторая

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решил перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело.

Кучеру Селифану было поручено рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с этими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но автор любит быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник — он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение соверша-

лось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка.

Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да переташить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться какие-нибудь делом; или подходил с плеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал — может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», — бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке.

Кучер Селифан был совершенно другой человек... Но автор весьма сожалеет занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобались уже к чином генеральским, те, бог ведает, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою.

Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням — а в тот день случись воскресенье, — выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлынул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдаль узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде всяких шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные.

Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад.

На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, поумнее и носивший бороду клином, ответил:

— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

— Ну да, Маниловка.

— Маниловка! А если проедешь еще версту две, то прямо направо будет дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на холме увидишь дом, каменный, в два этажа, где живет сам господин. Вот это и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.

Кучер кивнул головой:

— Ну, понятно. А как там сейчас с дорогами? Может, придется объезжать что-то?

Мужик усмехнулся:

— Сейчас все нормально, дороги в порядке. Но лучше быстрее ехать, времени мало. Там на холме уже начали строить новый госпиталь для военных. Дропы и патрули часто проезжают по этой стороне.

Кучер кивнул:

— Хорошо, поедem быстрее. А вы знаете, там сейчас какая ситуация с мобилизацией?

Мужик вздохнул:

— Да, все сложно. Многие отправляются на фронт, а тут еще и беженцы приезжают из оккупированных районов. Проверки у стрелковых пунктов строгие, но люди помогают друг другу. Волонтеры организуются, чтобы облегчить жизнь тем, кто в пути.

Кучер кивнул:

— Спасибо за информацию. А вы сами откуда?

Мужик улыбнулся:

— Я из Подмосковья. Здесь живу уже несколько лет. Но все равно волнительно, когда приходится ездить через эти места.

****Поездка в Маниловку****

Мы отправились искать Маниловку. Проехав две версты, мы наткнулись на поворот на проселочную дорогу. Но уже через две, три, четыре версты казалось, что каменного дома в два этажа все еще не видно. Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе за пятнадцать километров, значит, у него есть тридцать верных друзей. Деревня Маниловка могла заманить своим местоположением лишь немногих.

Дом господский стоял одиночкой на юре — высоком возвышении, открытому всем ветрам. Гора под домом была покрыта подстриженным дерном; две-три клумбы с кустами сирени и желтых акаций разбросаны по-английски. Пять-шесть березок небольшими купами возносили свои мелколистные вершины. Под двумя из них виднелась беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления». Неподалеку пруд, покрытый зеленью — не такое удивительное явление в садах русских помещиков.

Подошва этого возвышения была темной полосой серых бревенчатых изб. Герой наш, неизвестно по каким причинам, начал считать их и насчитал более двухсот. Между ними не росло ни одного дерева или какой-либо зелени; везде лежали только бревна. Две женщины, картинно подобрав платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колену в пруде, таща за два деревянных кляча изорванный бредень, где виднелись два запутавшихся раков и блестела плотва. Женщины казались в ссоре и перебранчивали друг с другом.

Со стороны темнел скучно-синеватый цвет сосновый лес. Даже погода была кстати: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета — такого бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины был петух, предвестник переменчивой погоды. Несмотря на то что его голова

была продолблена до самого мозга носами других петухов по известным делам волокитства, он горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными как старые рогожки.

Подъезжая к двору, Чичиков заметил на крыльце хозяина, который стоял в зеленом шалонном сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжающий экипаж. По мере того как бричка приближалась к крыльцу, его глаза делались веселее и улыбка раздвигалась все шире.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы нас вспомнили!

Два приятеля обменялись крепкими поцелуями, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, которое они провели в коридоре, холле и столовой, было довольно сжатым, попробуем воспользоваться ими для того, чтобы сказать что-нибудь о хозяине дома. Но автор должен признаться, что это будет нелегко. Описывать крупные характеры гораздо проще: достаточно просто набросать черты на холст — темные сверкающие глаза, грозные брови, морщинистая лобная кость и черный или алый плащ, перекинутый через плечо. И портрет готов; но вот эти люди, которых так много на свете, которые с первого взгляда кажутся похожими друг на друга, а при внимательном рассмотрении выявляются самые незаметные особенности — их описывать крайне сложно.

Для того чтобы передать все тонкие детали, придется сильно напрячь внимание и вникнуть во все мельчайшие черты. В общем, придется углубиться настолько глубоко, что даже специалисты по психологическому анализу могут устать.

Глава 12/273

Манилов был человеком среднего роста, с приятным лицом и голубыми глазами под белокурой шевелюрой. Встречались люди, которые сразу говорили: «Какой добрый и приветливый человек!» Но уже через несколько минут начинали задумываться: «Что это за тип такой?»

Манилов работал в крупной IT-компании на должности менеджера по развитию бизнеса. Внешне он был вполне приличным парнем, но что-то в его манере общения вызывало у людей подозрительность. Он постоянно улыбался и казалось, что ему все нравится. Однако это была улыбка, которая скрывала что-то недоброе.

Однажды к Манилову пришел новый сотрудник по имени Иванов. Иванов был молодым программистом с хорошим потенциалом. Он начал рассказывать о своих планах и идеях для улучшения работы команды. Манилов слушал его внимательно, куря трубку, которую он подобрал еще в армии, где считался одним из самых скромных и деликатных офицеров.

«Да, недурно», — говорил Манилов, когда Иванов предлагал какие-то новые идеи. Однако на следующий день Иванов обнаруживал, что его предложения были просто проигнорированы или даже забыты.

Однажды к Манилову пришел старый знакомый по имени Петров и попросил у него денег для покупки нового автомобиля. Манилов ответил: «Ступай, дружище», не задумываясь о том, что Петров мог пойти в кредит или даже налево.

Вечерами в его квартире на Новом Арбате стоял прекрасный подсвечник из темной бронзы с античными грациями и перламутровым щитом. Однако рядом с ним стоял старый медный инвалид, хромой и весь в пятнах от жира.

Манилов женился на женщине по имени Наталья. Они были вместе уже восемь лет, но каждый из них продолжал дарить друг другу мелкие подарки: яблочки, конфеты или орешки. Эти моменты были полны нежности и любви.

Но внутри Манилова все было не так радужно. Он часто говорил о том, как бы хорошо было построить подземный ход от дома до парка или каменный мост через пруд с лавками для купцов. Эти идеи никогда не воплощались в жизнь и заканчивались лишь словами.

В его кабинете всегда лежала книга, заложенная на четырнадцатой странице. Он читал ее уже два года без перерыва. В доме часто что-то не хватало: мебели в гостиной или даже комнаты для гостей.

Манилов был человеком среднего уровня, который никогда не брался за серьезные дела и всегда откладывал важные решения на потом. Его жизнь была полна нежности и любви, но внутри все было другим.

2095. В день рождения приготовления были насыщены сюрпризами: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку или небольшой венок из искусственных цветов. Иногда, сидя на диване перед телевизором, они внезапно обменивались поцелуями, которые затягивались настолько, что можно было бы легко выкурить сигарету. Они были счастливы.

Конечно, в доме было много других занятий: готовка на кухне, уборка в кладовой, заботы ключницы и слуг. Но все это казалось низким по сравнению с их счастьем. Манилова воспитывалась в хорошей пансионе, где основными предметами были французский язык, необходимый для семейной жизни; фортепьяно, чтобы составлять приятные минуты супругу; и хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Время от времени появлялись усовершенствования методов, особенно сейчас, когда все зависело от благоразумия и способностей содержательниц пансионатов.

Однажды Чичиков стоял перед дверями гостиной в доме Манилова. Он взялся было за ручку, но Манилов остановил его:

— Позвольте мне вас провести, Павел Иванович, — сказал он.

— Нет-нет, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, — ответил Чичиков.

— Нет, нет, вы гость, проходите вперед, — настаивал Манилов, указывая ему на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста. Проходите, — продолжал Чичиков.

— Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю, — возразил Манилов с улыбкой.

— Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите, — сказал Чичиков.

— Ну да уж извольте проходить вы, — согласился Манилов.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — ответил с приятной улыбкой Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. Чичиков представил Манилова своей жене:

— Душенька, позвольте вам представить Павла Ивановича Чичикова.

Чичиков точно заметил даму, которую совсем не заметил бы, раскланиваясь с Маниловым у входа. Она была недурна собой и одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол, а затем сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела, и Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя: «Он очень обрадовал нас своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем».

— Да, — примолвил Манилов, — уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» — «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение... майский день... именины сердца...

Чичиков услышал, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно: «Ни громкого имени не имею, ни даже ранга заметного».

— Вы всё имеете, — прервал Манилов с такой же приятной улыбкой, — всё имеете, даже еще более.

— А как вам показался наш город? — примолвила Манилова. — Приятно ли провели там время?

— Очень хороший город, прекрасный город, — отвечал Чичиков, — и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

— А как вы нашли нашего губернатора? — сказала Манилова.

— Не правда ли, что предпочтеннейший и прелюбезнейший человек? — прибавил Манилов.

— Совершенная правда, — сказал Чичиков, — предпочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

— Как он может этак, знаете, принять всякого, блюсти деликатность в своих поступках, — присовокупил Манилов с улыбкой и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

— Очень обходительный и приятный человек, — продолжал Чичиков, — и какой искусник! Я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры! Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? — сказал Манилов, опять несколько прищурился.

— Очень, очень достойный человек, — отвечал Чичиков.

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? — прибавила Манилова. — Не правда ли, прелюбезная женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, — отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

— Вы всегда в деревне проводите время? — сделал наконец вопрос Чичиков.

— Больше в деревне, — отвечал Манилов. — Впрочем, приезжаем мы в город для того, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете ли, будешь все время жить взаперти.

— Правда, правда, — сказал Чичиков.

— Конечно, — продолжал Манилов, — другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым можно было бы поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь науку, чтобы расшевелило душу, дало паренье. — Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметив, что несколько зарпортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: — Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только иногда считаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавив, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

— Но знаете ли, — прибавил Манилов, — все если нет друга, с которым можно поделиться...

— О, это справедливо, это совершенно справедливо! — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», сказал один мудрец.

— И знаете, Павел Иванович! — сказал Манилов, явив выражение не только сладкое, но даже приторное, подобного той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая обрадовать пациента. — Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...

— Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, — отвечал Чичиков.

— О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!

— Напротив, я бы почел за величайшее...

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное изливание чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

— Прошу покорнейше, — сказал Манилов. — Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкой. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

— Какие миленькие дети, — сказал Чичиков, посмотрев на них, — а который год?

— Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть, — сказала Манилова.

— Фемистоклус! — сказал Манилов, обращаясь к старшему ученику, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровей, услышав такое отчасти греческое имя, которому, по какой-то причине, Манилов дал окончание на «юс», но тотчас же привел лицо в обычное положение.

— Фемистоклус, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Учитель обратил все внимание на Фемистоклуса и казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головой, когда ученик сказал: «Париж».

— А у нас какой лучший город? — спросил опять Манилов.

Учитель снова сосредоточил внимание.

— Санкт-Петербург, — отвечал Фемистоклус.

— А еще какой?

— Москва, — отвечал Фемистоклус.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков. — Скажите, однако ж... — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, — в такие лета и уже такие сведения! Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

— О, вы еще не знаете его, — отвечал Манилов. — У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшей Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочту по дипломатической части. Фемистоклус, — продолжал он, снова обращаясь к нему, — хочешь быть посланником?

— Хочу, — отвечал Фемистоклус, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер нос Фемистоклусу, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклус укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром.

Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

— В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет, — сказал Манилов и повел Чичикова в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. — Вот мой уголок, — сказал Манилов.

— Приятная комната, — сказал Чичиков, окинув ее взглядом.

Комната была не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол с книгой и закладкой, которую мы уже упоминали. Несколько исписанных бумаг лежали на столе, но больше всего было табака. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан кучей на столе. На окнах тоже были горки выбитой из трубок золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

— Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах, — сказал Манилов. — Здесь вам будет попокойнее.

— Позвольте, я сяду на стуле.

— Позвольте вам этого не позволить, — сказал Манилов с улыбкой. — Это кресло у меня уже ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

— Позвольте мне вас попотчевать трубочкой.

— Нет, не курю, — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

— Отчего? — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

— Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

— Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем отделе был специалист, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодаря бога, до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это точно случается и что природе находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу... — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно чего оглянулся назад. — Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?

— Да уж давно; а лучше сказать не припомню.

— Как с того времени много у вас умерло крестьян?

— А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить бухгалтера. Эй, человек! Позови бухгалтера, он должен быть сегодня здесь.

2035.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду и ходивший в сюртуке. По-видимому, он проводил очень покойную жизнь, потому что его лицо казалось пухло от полноты, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть, что он совершил свое поприще, как все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла[3 - Тягло

— крестьянская семья. Раскладка податей и повинностей производилась по тяглам], проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

— Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

— Да как сколько? Многие умирали с тех пор, — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукой, наподобие щитка.

— Да, признаюсь, а сам так думал, — подхватил Манилов, — именно, очень многие умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень многие.

— А как, например, числом? — спросил Чичиков.

— Да сколько числом? — подхватил Манилов.

— Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умерло, их никто не считал.

— Да, именно, — сказал Манилов, обратясь к Чичикову, — я тоже предполагал большую смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

— Ты, пожалуйста, их перечти, — сказал Чичиков, — и сделай подробный реестрик всех поименно.

— Да всех поименно, — сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» — и ушел.

— А для какие причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя. В лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел — напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, какие еще никогда не слышали человеческие уши.

— Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот такие: я хотел бы купить крестьян... — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

— Но позвольте спросить вас, — сказал Манилов, — как желаете вы купить крестьян: с землю или просто на вывод, то есть без земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно крестьян, — сказал Чичиков, — я желаю иметь мертвых...

— Как-с? извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово...

— Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, — сказал Чичиков.

2174. Манилов выпустил тонкую струю дыма из ноздрей, словно проверяя воздух на чистоту. Его глаза были широко раскрыты, и взгляд его был пустым, как у человека, который только что пережил шок. Оба приятеля, Чичиков и Манилов, стояли в комнате, освещенной мягким светом лампы. Воздух наполнялся запахом табака и старой бумаги.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше? — Чичиков говорил с напряжением, его голос был тихим и ровным.

Манилов оставался безучастен, его лицо было мертвенно-бледным. Он продолжал стоять с открытым ртом, как будто не веря услышанному. Его глаза были прикованы к Чичикову, и он казался парализованным страхом.

— Мне кажется, вы затрудняетесь? — заметил Чичиков, пытаясь разорвать тишину.

Манилов молчал, его глаза блуждали по комнате, словно он искал выход из этого кошмарного положения. Наконец, он вздохнул и начал говорить:

— Я?... нет, я не то... — начал Манилов, но тут же замолчал, его лицо стало еще более бледным.

Чичиков подошел ближе, его голос стал мягче:

— Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога? — спросил он, пытаясь помочь Манилову найти слова.

Манилов снова замолчал и начал сосать чубук с такой силой, что тот начал хрипеть, как фагот. Он продолжал это делать, словно надеялся вытянуть из себя ответ на этот непостижимый вопрос.

— Итак, если нет препятствий, то с богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков, стараясь быть вежливым и уверенным.

Манилов не ответил. Он продолжал сосать чубук, его глаза были пустыми и безучастными. Наконец, он выпустил последнюю струю дыма через носовые ноздри и сказал:

— Как, на мертвые души купчую? — спросил Манилов, словно только что проснувшись от долгого сна.

Чичиков улыбнулся и ответил:

— А, нет! Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но он все еще не мог понять смысл происходящего. Он чувствовал себя парализованным и не знал, что делать дальше. Вместо ответа он снова начал сосать чубук так сильно, что тот хрипел все громче.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения? — спросил Чичиков, пытаясь разорвать тишину и помочь Манилову найти выход из этого кошмара.

— О! помилуйте, ничуть. Я не говорю, чтобы имел какое-нибудь критическое предубеждение о вас. Но позвольте доложить: не будет ли это предприятие или, скажем прямо, сделка, несоответствующей гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделав несколько движений головой, посмотрел на Чичикова очень значительно. На его лице отразилось глубокое выражение, такое, что можно было подумать: такого не бывает даже у слишком умных министров в самые сложные моменты.

Но Чичиков просто сказал, что подобное предприятие никак не будет несоответствующим гражданским постановлениям и дальнейшим видам России. А через минуту добавил, что казна даже получит выгоду: законные пошрины.

— Так вы полагаете?

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, — сказал Манилов и совершенно успокоился.

— Теперь остается условиться в цене.

— Как в цене? — сказал опять Манилов и остановился. — Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло такое фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла — это известно только в самых сильных порывах радости. Он повернулся так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя подушки; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении.

Побужденный признательностью, он наговорил столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего. Что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

— Очень не дрянь, — сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: — Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? Как

барка среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? За то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!.. — Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

2139. Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку, молча глядя в глаза, где уже стояли слезы. Манилов никак не хотел отпускать руки нашего героя и продолжал сжимать её так крепко, что тот уже не знал, как избавиться от его внимания. Наконец, выдернув её потихоньку, он сказал, что пора быстрее завершить сделку и хорошо бы, если бы он сам мог посетить город. Затем взял шляпу и стал прощаться.

— Как? Вы уже собираетесь уезжать? — спросил Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В этот момент вошла Лизанька.

— Лизанька, — сказал Манилов с жалостливым видом, — Павел Иванович оставляет нас!

— Потому что мы надоели Павлу Ивановичу, — ответила Манилова.

— Сударыня! Здесь, — сказал Чичиков, — здесь, вот где, — тут он постучал себя по груди, — да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! И поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то по крайней мере в самом ближайшем соседстве.

— А знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, — как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одной крышей или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!

— О! Это была бы райская жизнь! — сказал Чичиков, вздохнув. — Прощайте, сударыня! — продолжал он, подходя к ручке Маниловой. — Прощайте, почтеннейший друг! Не забудьте просьбы!

— О, будьте уверены! — ответил Манилов. — Я с вами расстанусь не больше как на два дня.

Все вышли в столовую.

— Прощайте, миленькие малютки! — сказал Чичиков, увидев Алкида и Фемистоклуса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. — Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что признаюсь, даже не знал, живете ли вы на свете, но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

— Хочу, — ответил Фемистоклус.

— А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? — продолжал он, наклонившись к Алкиду.

— ПарAPAN, — ответил шепотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, а тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак все будет: турrrr... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! прощай! — Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

— Право, останьтесь, Павел Иванович! — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. — Посмотрите, какие тучи.

— Это маленькие тучки, — ответил Чичиков.

— Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

— Об этом хочу спросить вас.

— Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру.

Тут Манилов с такой же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «ВЫ».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и повернуть на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», — и Чичиков уехал, сопровождаемый долгими поклонами и маханием платка приподнявшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая взглядом удаляющуюся бричку. Когда она полностью скрылась из виду, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел в комнату и сел на стул, предавшись размышлениям. Душевно радовался, что доставил гостю небольшое удовольствие.

Мышцы его лица расслабились, мысли перенеслись к другим предметам. Он думал о благополучии дружеской жизни: как хорошо было бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Внезапно в голове возник мост, огромный дом с высоким бельведером, откуда можно было видеть даже Москву. Там они могли пить вечерний чай на открытом воздухе и обсуждать приятные темы.

Затем мысли перенеслись к их приезду в какое-то общество на хороших каретах, где их обворожали все приятности обращения. И даже государь, узнав о такой дружбе, пожаловал их генералами. Но что дальше? Все это казалось таким неясным и далеким.

Странная просьба Чичикова прервала его мечтания. Мысль об этом вопросе как-то особенно не вязалась в голове: как ни переворачивал он ее, никак не мог разобраться. Сидел и курил трубку до самого ужина.

Глава третья

Чичиков с довольной улыбкой сидел в своей новенькой электромобиле, катившейся по столице на закате. Из предыдущей главы уже ясно, что его основная страсть и интерес заключались в каких-то сложных финансовых расчетах и сделках. Поэтому не удивительно, что он полностью погрузился в эти мысли, телом и душой. Предположения, сметы и различные соображения блуждали по его лицу, и видно было, что они приносили ему огромное удовольствие: каждую минуту на его лице появлялась довольная улыбка. Занимаясь этими мыслями, он не обращал внимания на то, как его кучер, довольный встречей с дворянами Манилова, делал весьма полезные замечания своему чубарому пристяжному коню, запряженному справа. Этот чубарый конь был очень хитрый и показывал только для виду, будто бы везет, тогда как коренной гнедой каурый конь, называемый Заседателем (потому что был приобретен от какого-то заседателя), трудился с полной силой. В глазах его было заметно, как ему нравится эта работа.

«Хитри, хитри! Вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, поднимаясь на стременах и хлыснув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотой дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тоже хороший конь... Ну, ну! Что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! Я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом и примолвил: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» — и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, а чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение? Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои друзья, тонкие приятели; выпить ли чаю, или закусить — с охотой, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской советник...»

Глава 24/273

Селифан утонул в своих мыслях, забыв о реальности вокруг. Если бы Чичиков прислушался к его размышлениям, узнал бы много интересного и личного для себя. Но его мысли были полностью поглощены текущей ситуацией. Только мощный удар грома заставил его

очнуться и взглянуть вокруг. Небо было заволочено тучами, а пыльная почтовая дорога превратилась в грязное месиво от внезапного дождя.

Второй громовой удар был еще громче и ближе. Дождь хлынул как из ведра: сначала он бил кузов кибитки сбоку, потом переключился на другую сторону, а затем стал барабанить прямо на верхнюю часть кузова. Брызги начали долетать ему в лицо.

Это заставило Чичиковского задернуть кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, предназначенными для наблюдения за дорогой. Он приказал Селифану ехать быстрее. Селифан, прерванный в середине речи, понял, что действительно нужно торопиться. Он вытащил из-под козла какую-то дрянь из серого сукна и надел ее на рукава. Затем взял вожжи и прикрикнул на тройку лошадей, которые только что переступили ногами, чувствуя приятное расслабление от поучительных слов Селифана.

Но Селифан никак не мог припомнить, сколько поворотов проехали. Сообразив и припомнив несколько дорогу, он догадался, что много поворотов пропустил мимо. Русский человек в решительные моменты всегда находит себе занятие: Селифан повернул направо на первую перекрестную дорогу и крикнул:

— Эй вы, други почтенные!

И пустился вскачь, мало думая о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь продолжал лить с такой силой, что пыль на дороге быстро превратилась в грязь. Лошадям становилось все тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя деревни Собакевича. По расчету, давно пора было приехать.

— Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из кибитки.

— Что, барин? — отвечал Селифан.

— Погляди-ка, не видно ли деревни?

— Нет, барин, нигде не видно! — После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню, которая больше походила на длинную речь. Туда все вошло: ободрительные и побудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попало на язык. Таким образом, он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал замечать, что бричка качается во все стороны и дает сильные толчки; это дало ему почувствовать, что они свернули с дороги и, вероятно, тащились по взрылленному полю. Селифан, казалось, сам смекнул об этом, но не говорил ни слова.

— Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков.

— Да что ж, братан, делать, время такое; кнута не видно, такая потьма! — сказал Соколов, отчего карета покачнулась так, что Чичикову пришлось держаться обеими руками. Тут он заметил, что Селифан подгулял.

— Держи, держи, опрокинешь! — кричал Соколов.

— Нет, братан, как можно, чтоб я опрокинул? — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я сам знаю; уж никак не опрокину. — Затем он начал слегка поворачивать карету, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан остановил лошадей, хотя они сами бы остановились — были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед каретой, подперся в бока обеими руками, а Чичиков барахтался в грязи, силясь вылезти.

«Вишь ты, и перекинулась!» — сказал Селифан после некоторого размышления.

— Ты пьян как сапожник! — сказал Чичиков.

— Нет, братан, как можно, чтобы я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. Поговорил с приятелем, потому что с хорошим человеком можно поговорить; и закусили вместе. Закуска не обидное дело.

— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? — забыл?

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл? Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьянным. Поговорил с приятелем, потому что...

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

— Как милости вашей будет угодно, — отвечал Селифан на все согласный, — коли высесть, то и высесть; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посесть, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посесть, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посесть?

На такое рассуждение Чичиков совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей прямо на деревню, остановился только тогда, когда каретка ударилась оглоблями в забор и уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окне и досяг туманной струею до забора, указывая нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и Чичиков со слугою услышали хриплый бабий голос:

— Кто стучит? чего расходились?

— Приезжие, матушка, пусть переночуют у нас.

— Вишь ты, какой востроногий, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: хозяйка живет.

— Что ж делать, матушка? Вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

— Да, время темное, нехорошее время, — добавил Селифан.

— Молчи, дурак, — сказал Чичиков.

— Да кто вы такой? — спросила старуха.

— Дворянин, матушка.

Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.

— Погодите, я скажу хозяйке, — произнесла она и через минуты уже возвращалась с фонарем в руке.

Глава 27/305

Ворота открылись. Мелькнула искра в другом окне. Бричка, въехав на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотой было сложно разглядеть. Только одна половина его была освещена светом из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо попадал тот же свет. Дождь стучал по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем собаки заливались всеми возможными голосами: один, забросив голову вверх, выводил протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какие деньги; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, завершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как певческий контрабас на концерте в полном разливе: тенора поднимались на цыпочки от сильного желанья вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывалось кверху, закидывая голову, а он один, засунув небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропуская свою ногу, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревня была порядочная; но промокший и озябший герой ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совсем остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо

вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она провела его в комнату.

Чичиков бросил два быстрых взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев; за каждым зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате... Ничего более заметить было невозможно. Он чувствовал, что глаза его липнут, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка женщины пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комода. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоду ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопы, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сторит платье и не изотрется само собою: бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом.

— Ничего, ничего, — сказала хозяйка. — В какое это время вас бог принес! Сумятица и выюга такая... С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя.

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость был испуган; шум походил на то, как будто вся комната наполнилась змеями; но, взглянув вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они проббили два часа таким звуком, как будто кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказав, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем. Что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу. На что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

— По крайней мере знаете Манилова? — сказал Чичиков.

— А кто таков Манилов?

— Помещик, матушка.

— Нет, не слыхивала, нет такого помещика.

— Какие же есть?

— Бобров, Свиный, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

— Далеко ли по крайней мере до города?

— А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать! Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

— Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал

бог: гром такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! Где так изволил засалиться?

— Еще славу богу, что только засалился, нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

— Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?

— Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходявшей на крыльцо со свечой, которая успела уже притащить перину и, взбив ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. — Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши перед огнем, как дельвали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

— Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

— Ну, вот тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

3050. Но гость отказался даже от почесывания пяток. Хозяйка вышла из комнаты, и он тотчас поспешил раздеться, передав Фетинье всю снятую с себя одежду — как верхнюю, так и нижнюю. Фетинья пожелала ему также спокойной ночи и утатила эти мокрые вещи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица в этом деле. Когда он подставил стул и взобрался на кровать, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из подушки, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся он уже довольно поздним утром. Солнце блистало ему прямо в глаза через окно, а мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, теперь все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз. Ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть — обстоятельство, которое стало причиной его пробуждения. Окинув взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не все были птицами: между ними висел портрет Кутузова и какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомым. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать». На это Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам было несчетное множество; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь. Свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, она съела мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик или курятник переграждал дощатый забор, за которым тянулись пространственные огороды с капустой, луком, картофелем, светлой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев,

из которых последние переносились с одного места на другое целыми косвенными тучами. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но показывали довольство обитателей: изветшавший тес на крышах был заменен новым; ворота нигде не покосились. В обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», — сказал он и положил тут же разговариваться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

— Здравствуйте, отец мой. Как почивали? — сказала хозяйка, поднимаясь с кресла. Она была одета лучше, чем вчера: в темном платье и без спального чепца на голове, но что-то было завязано вокруг шеи.

— Хорошо, хорошо, — ответил Чичиков, усаживаясь. — Как вы себя чувствуете, матушка?

— Плохо, отец мой. Бессонница, все поясница болит, а нога так и ломит.

— Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

— Дай бог, чтобы прошло. Я-то смазывала свиным салом и скипидаром тоже, — ответила она, улыбнувшись сквозь боль. — А с чем прихлебаете чайку? Во фляжке фруктовый.

— Недурно, матушка, хлебом и фруктового.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, кто у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другого за иностранцами, то давно перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торговцем, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста; а у которого их триста — не так, как с тем, у которого их пятьсот; а с тем, у которого их пятьсот — опять не так, как с тем, у которого их восемьсот. Словом, хоть восходи до миллиона, всё найдут оттенки.

Например, существует канцелярия в одном из городов, а в канцелярии правитель канцелярии. Прошу смотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных — да просто от страха и слова не выговоришь! Гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? Просто бери кисть и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет.

В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем делается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе-хе», думаешь себе...

Но обратимся к действующим лицам. Чичиков, как мы видели, решил не церемониться и взял чашку с чаем, добавив туда фруктовый сироп.

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, — сказала хозяйка, — да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...

— Коробочкина, коллежская секретарша.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? Хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица. — Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка, — отвечал Чичиков, усмехнувшись, — чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.

— А, так вы покупатель! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Чем же тогда? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, восемнадцать человек — сказала старуха, вздохнувши. — И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: все такая мелюзга; а заседатель подъехал — подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! И теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

— На все воля божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши. — Против мудрости божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старухахватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Прощай, право, не знаю, — произнесла хозяйка с расстановкой. — Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их комунибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

2155. «Ну, баба, кажется, крепколюбая!» — подумал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка, — начал он, — да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого...

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица. — Еще третью неделю внесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я даже крепость на свои деньги построю, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покушник; приехал же он бог знает откуда, да еще в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случилось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткнут.

— Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят.

— Послушайте, матушка... эх, какие вы! Что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? Это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Уж это точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. — Пойди ты сладь с нею! В пот бросила, проклятая старуха!» Тут он вынул из кармана платок и начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилить; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч от стены. Отерши пот, Чичиков решил попробовать, нельзя ли ее навести на путь какой-нибудь иной стороной.

— Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почему продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ли? Так вот это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, [4 — Морить пчёл — одурманивать их дымом, чтобы вынуть соты.] кормили их в погребе целую зиму. А вот смертные долги дело совсем другого рода. Тут вы с вашей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля Божия, чтоб они оставили этот мир, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а все синими ассигнациями. — После таких убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся.

— Право, — отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело! Лучше ж я повремени, авось понаедут купцы, да примерюсь к ценам.

— Страшно, страшно, матушка! Просто страшно! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... — возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Смертные в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается, перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? Отвечайте по крайней мере.

Старуха снова задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я все не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из терпения, хватил стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади и околлей со всей вашей деревней!

— Ах, какие ты забранки пригинаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь дворяжка, что лежит на ковре и сам не ест мяса, а другим не гавкает. Я хотел было закупать у вас разные товары для бизнеса, потому что я тоже веду государственные контракты... — Здесь он прижался, хоть и вскользь и без дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Государственные контракты подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:

— Да чего ж ты так сердито обижаешься? Если бы я знала раньше, что ты такой злой, совсем бы не возражала.

— Есть из чего сердиться! Дело не стоит яйца выеденного, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать тысяч рублей! Только смотри, папаша, а насчет контрактов: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обижай меня.

— Нет, мама, не обижу, — говорил он, а между тем оттирал рукой пот, который в три ручья катился по лицу. Он спросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь юриста или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение сделок и всего, что следует.

— Как же, протопопа Кирилл, сын служит в суде, — сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних хлопот, сам даже взялся сочинить.

1967.

Коробочка сидела в своей комнате, думая о том, что было бы хорошо, если бы Чичиков забрал у неё муку и скотину. Нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера ещё немного осталось, так она пойдёт сказать Фетинье, чтобы спекла блины; а также зайдёт пирога пресный с яйцом, который у неё получается особенно вкусно. И времени на это уйдет немного. Хозяйка вышла из комнаты с мыслью заняться приготовлением пирога и блинов, а Чичиков отправился в гостиную, где провел ночь, чтобы достать нужные бумаги из своей шкапулки.

Гостиная уже была убрана: роскошные перины вынесены на балкон, перед диваном стоял стол. Поставив на него шкатулку, Чичиков немного отдохнул, чувствуя себя весь в поту, как будто только что проплыл через реку: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, всё было мокро. «Эк уморила как проклятая старуха», — сказал он, немного отдышавшись, и отпер шкатулку.

Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно: в самой середине — мыльница; за мыльницей — шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленной между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист; потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверняка нельзя было сказать, сколько там было денег.

Чичиков тут же занялся делом: очистив перо, он начал писать. В это время вошла хозяйка.

— Хорош у тебя ящик, отец мой, — сказала она, подсев к нему. — Чай, в Москве купил его?

— В Москве, — ответил Чичиков, продолжая писать.

— Я уже знала это: там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянув в шкатулку. И действительно, гербовой бумаги было там немало. — Хоть бы мне листок подарил! А у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения сделок, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить её, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написав письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький список мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил её тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленное к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

— Прошу покорно закусить, — сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы[5 - Шанишки — шаньги — пицца-пикколо, «род ватрушек, немного меньше». Пряглы — «пышки, оладьи»], блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.

— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом, и, съевши тут же с небольшим половиной, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

— А блинков? — сказала хозяйка.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторив это раза три, он попросил

хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут, — сказала хозяйка, — да вот беда: урожай плох, мука уж такая неважная... Да что же, батюшка, вы так спешите? — проговорила она, увидев, что Чичиков взял в руки картуз, — ведь и бричка еще не заложена.

— Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

— Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

— Не забуду, не забуду, — говорил Чичиков, выходя в сени.

— А свиного сала не покупаете? — сказала хозяйка, следуя за ним.

— Почему не покупать? Покупаю, только после.

— У меня о святках и свиное сало будет.

— Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

— Может быть, понадобятся птичьих перья. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков.

— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

— Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же это сделать? — спросила хозяйка. — Рассказать-то сложно, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

— Как не быть.

— Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу, только ты смотри! Не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.

Чичиков успокоил её и уверил, что не завезет. Коробочка, услышав это, расслабилась и стала осматривать всё вокруг: ключницу, выносящую из кладовой деревянную побратиму с медом, мужика, появившегося в воротах, и постепенно переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая её от сестры своей, недостижимо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в её доме и в её поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумующих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: ещё смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...

— А вот бричка! Вот бричка! — вскричал Чичиков, увидев наконец подъезжающую свою брижку. — Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь ещё выветрило.

Селифан на это ничего не ответил.

— Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?

— Эй, Пелагея! — сказала помещица стоявшей около крыльца девочке лет одиннадцати в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежей грязью. — Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог девочке взлезть на козлы, которая, став одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала её грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занёс ногу на ступеньку и, понагнув брижку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказав:

— А! Теперь хорошо! Прощайте, матушка!

Кони тронулись.

Глава четвертая

Селифан был весь в делах. Он сидел за рулем новенькой «Лады», навороченной до предела, и внимательно следил за дорогой. Лобовое стекло было чистым как зеркало, а внутри экипажа – уютно и современно: кожаные сидения, свежий воздух благодаря фильтру, который он купил в интернете.

«Лада» была удивительно вычищена. Даже ремень безопасности на одной из дверей был аккуратно зашит после того, как его порвало во время последней поездки. Селифан был молчалив и суров, словно всегда после тех моментов, когда чувствовал себя виноватым или пьян.

— Направо, что ли? — спросил он сухим голосом, показывая кнутом на дорогу между ярко зелеными полями, покрытыми свежей травой и освещенными солнцем.

— Нет, нет, я уж покажу, — ответила девочка, сидящая рядом.

— Куда ж? — спросил Селифан, когда они подъехали ближе.

— Вот куды, — показала она рукой на дорогу.

— Эх ты! — сказал Селифан. — Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был прекрасным, земля была так загрязнена, что колеса экипажа быстро стали покрыты грязью, как войлоком, что значительно увеличивало вес. К тому же почва была глинистой и цепкой необыкновенно. Все это было причиной того, что они не могли выбраться из проселков до полудня.

Без девочки было бы трудно сделать это. Дороги расплзались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка, и Селифану довелось бы колесить уже не по своей вине.#####

Глава четвертая

Селифан был весь в делах. Он сидел за рулём новенькой «Лады», навороченной до предела, и внимательно следил за дорогой. Лобовое стекло было чистым как зеркало, а внутри экипажа – уютно и современно: кожаные сидения, свежий воздух благодаря фильтру, который он купил в интернете.

— Нет, нет, я уж покажу, — ответила девочка, сидящая рядом.

— Куда ж? — спросил Селифан, когда они подъехали ближе.

— Вот куды, — показала она рукой на дорогу.

Без девочки было бы трудно сделать это. Дороги расплзались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка, и Селифану довелось бы колесить уже не по своей вине.

Подъехав к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтобы дать отдохнуть лошадям, а с другой — чтобы самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку таких людей. Для него совершенно не важны все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устриц, морских пауков и прочих чудес, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждают в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной

станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в любое время, и стерляжья уха с налимками и молоками шипит и ворчит у них между зубами, заедаемая расстегайками или кулебякой с сомовым плёсом. Так что вчуже проникает аппетит! Вот эти господа действительно пользуются завидным даянием неба!

Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и только что, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже ценой имения, с улучшениями или без них, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный трактир, потемневший от времени, принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькой деревянной лестницей наверх, в широкие сени, он встретил отворяющую со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё те же старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам. Заиндевелый самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички перед образами, висевшие на голубых и красных ленточках; окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец, натканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

— Есть.

— С хреном и со сметаной?

— С хреном и со сметаной.

— Давай его сюда!

Старуха пошла копаться в шкафчике и принесла тарелку, салфетку, такую накрахмаленную, что казалась засохшей корой дерева. Затем она вытащила нож с желтоватой деревянной рукояткой, тонкий как перочинный, и двузубую вилку. Солонка была такая кривовата, что никак нельзя было поставить ее прямо на стол.

Наш герой, как обычно, сразу же начал разговор с ней и спросил: сама ли она владеет трактиром или есть хозяин? А сколько он получает дохода от него? И живут ли там сыновья, а если да, то женаты ли старший сын или холостяк? Если женатый, то какую взял жену — с большим ли приданым, или нет? Доволен ли был тесть и не сердился ли на сына за малое количество подарков на свадьбе. В общем, он не пропустил ни одной детали.

Конечно же, он полюбопытствовал узнать, какие помещики находятся в окрестностях, и выяснилось, что есть разные: Плотин, Почитаев, Мыльный, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! — спросил он, — знаешь Собакевича?» И старуха ответила, что знает не только Собакевича, но и Манилова. Она рассказала, что Манилов будет поделикатней Собакевича: тот велит сразу сварить курицу, спросит телятинки; если есть баранья печень, то и бараньей печени спросит, а попробует всего лишь малую часть. А Собакевич будет спрашивать только одного чего-нибудь, но зато все съест, даже подавать дополнительную порцию за ту же цену придется.

Когда Чичиков таким образом разговаривал, едва ли успев#####

^^

не доест последний кусок свинины, послышался стук колёс подъезжающего автомобиля. Оглянувшись через окно, он увидел остановившуюся перед трактиром небольшую седан, запряженную тройкой хороших лошадей. Из машины вышли двое мужчин: один светловоло-

сый и высокий роста; другой — ниже ростом, черноволосый. Светловолосый был одет в темно-синюю куртку, а черноволосый просто в полосатой рубашке. За ними медленно тянулась еще одна пустая коляска, запряжённая какой-то длинношерстной четвёркой лошадей с изорванными хомутами и веревочной упряжью.

Светловолосый тотчас же направился по лестнице наверх, а черноволосый остался и начал что-то щупать в машине, разговаривая с водителем и махая рукой в сторону следовавшей за ними коляски. Голос его показался Чичикову каким-то знакомым. В то время как он рассматривал мужчину, светловолосый уже нашёл дверь и открыл её. Это был мужчина высокого роста, худощавый с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было понять, что он знал, что такое табачный дым, если не пороховой. Он вежливо поклонился Чичикову, на что тот ответил тем же.

В продолжение нескольких минут они, вероятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собой, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие от того, что дорога была прибита вчерашним дождём, и теперь ехать было прохладно и приятно. В этот момент вошёл черноволосый его товарищ, сбросив картуз на стол и молодецкато взъерошив рукой свои густые чёрные волосы.

Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, белыми как снег зубами и чёрными как смоль бакенбардами. Он выглядел свежим, как кровь с молоком; здоровье казалось прыскать с его лица.

— Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. — Какими судьбами?

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что уже начал говорить «ты», хотя, впрочем, он сам не подал никакого повода.

...

— Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею о рамку. — Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его брчку. — Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. — А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова» Ну, брат, если бы ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов... — Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. — А ведь будь только двадцать рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше как двадцать, я отыграл бы все, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

— Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал белокурый, — а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

— И не просадил бы! Ей-богу, не просадил бы! Не сделал бы сам глупость, право, не просадил бы. Не загнул бы я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк.

— Однако ж не сорвал, — сказал белокурый.

— Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

— Эка важность! — сказал Ноздрев, — этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом,[7 - Пароле — удвоение ставки. Утка — прибавка к ставке. Играть дублетом — «не отделять от выигрыша и пускать вдвое». (Из записной книги Н. В. Гоголя.)] так вот тогда я

посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покатали мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгодной цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех километрах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить... Штабс-ротмистр Поцелуев... такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы все были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешают всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку — ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!

— Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, — заметил белокурый.

— Как честный человек говорю, что выпил, — отвечал Ноздрев.

— Ты можешь себе говорить все что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

— Ну хочешь об заклад, что выпью!

— К чему же об заклад?

— Ну, поставь ружье, которое купил в городе.

— Не хочу.

— Ну да поставь, попробуй.

— И пробовать не хочу.

— Да, если бы ты не носил ружья, как без шапки на голове. Эх, брат Соколов, сколько раз жалел, что тебя не было! Я знаю, что ты бы ни за что не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как вы с ним хорошо сошлись! Это совсем не то, что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Соколов, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя!

Мижухев, слушай, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал из Бог knows где, а я тоже здесь живу... А сколько было, брат, карет, и все это en gros. В фортулку крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шести целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было... я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

— А к человечку к одному, — сказал Соколов.

— Ну, что человечек, брось его! Поедем во мне!

— Нет, нельзя, есть дело.

— Ну вот уж и дело! Уж и выдумал! Ах ты, Оподелок Иванович!

— Право, дело, да еще и нужное.

— Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь?

— Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки. А сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

— Что ж тут смешного? — сказал Соколов, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:

— Ой, пощади, право, тресну со смеху!

— Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем во мне! Каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке.

Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. — Эй, Порфирий, — кричал Ноздрев, — принеси-ка щенка! Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурюю кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева... — Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

— Барин! Ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха.

— Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

— Анисовая, — отвечала старуха.

— Ну, давай анисовой, — сказал Ноздрев.

— Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый.

— В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, «Вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею.

Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. — А, давай его сюда! — закричал он увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в какой-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.

— Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

— Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая брюхо щенка, — и не подумал вычесать его?

— Нет, я его вычесывал.

— А отчего же блохи?

— Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

— Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.

— Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков.

— Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:

— Да, хорошая будет собака.

— А нос, чувствуешь, какой холодный? Возьми-на рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:

— Хорошее чутье.

— Прямо мордаш, — продолжал Ноздрев, — а признаюсь, давно уже на него зубы точил.

На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий взял щенка под брюхо и унес его в бричку.

— Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне. Пять верст всего — духом домчимся, а там можешь и к Собакевичу заглянуть.

«А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он на все, стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».

— Изволь, едем, — сказал он, — но чур не задержать, мне время дорого.

— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо. Пойди же, я тебя поцелую за это. — Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. — И славно: втроем и покатым!

— Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил белокурый, — мне нужно домой.

— Пустяки, пустяки, брат, не пушу.

— Прости, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.

— Ни-ни! И не думай.

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположное их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку — словом, начнут гладью, а кончат гадью.

— Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то замечание белокурая, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними.

— За водочку, барин, не заплатили... — сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! Заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего, — сказала старуха.

— Врешь, врешь. Дай ей полтину, [10 — Двугривенник (серебром) — восемьдесят копеек ассигнациями. Полтина — пятьдесят копеек ассигнациями.] предовольно с нее.

— Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая коляска Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме.

Глава 15

Лицо Ноздрева уже знакомо читателю. Таких людей встречаешь часто: они называются веселыми парнями. В детстве и школе их считают хорошими товарищами, но потом начинают

наворачивать бед. В их глазах всегда видно что-то открытое, прямое, даже немного дерзкое. Они быстро завязывают дружбы, а через день уже называют тебя "ты". Друзьями они становятся навсегда: но всегда случается так, что подружившийся начинает ссориться с ними на следующий вечер за бутылкой. Всегда говоруны, кутилы и авантюристы – люди заметные. Ноздрев в тридцать пять лет оставался таким же веселым парнем, каким был в восемнадцать: любил гулять. Женитьба его не изменила ничего, особенно что жена умерла через год после свадьбы, оставив двух детей, которых Ноздрев совсем не хотел видеть. Однако за детьми присматривала симпатичная нянька.

Ноздрев больше дня дома не мог провести. Его чуткий нос всегда чувствовал ярмарки и различные мероприятия на расстоянии нескольких десятков километров. В одно мгновение он уже там, спорит и создает сумятицу за зеленым столом, так как у него, как у всех таких, есть страсть к картишкам. Как мы видели в первой главе, Ноздрев играл не совсем честно: знал много хитростей и передержек. В результате игры часто заканчивались драками или задираньями сапогами, а бакенбарды становились густыми и красивыми – хотя то и дело приходилось терять одну из них. Но здоровые щеки Ноздрева так хорошо были сотворены, что бакенбарды быстро вырастали снова, даже лучше прежних.

Что самое странное, через некоторое время он снова встречал тех же приятелей, которые его задирали, и они встречались как ни в чем не бывало. Ноздрев говорил: "Ничего, парни, все в порядке", а они отвечали ему тем же.

Глава 14

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он бы ни находился, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или его под руки выведут из зала жандармы, или принуждены будут вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не произойдет: или он нарежется в буфете таким образом, что только смеются над ним, или провалится самым жестоким образом, так что наконец самому делается совестно. И Ноздрев будет рассказывать совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнеся: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить». Есть люди, имеющие страсть нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговаривая с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек во звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Таковую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходил, тому он скорее всех насаливал: распускал небыхлицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не считал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера.

Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомошник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено

домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот такой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

Ноздрев жил в Москве, где он часто попадался на глаза. Он был известен своими шуточками и историями, которые всегда вызывали смех или недоумение у окружающих. Однажды он встретился с Сергеем Ковалевым, который работал в одном из банков города.

— Ну, Ноздрев! — сказал Сергей, улыбаясь. — Ты опять что-то придумал?

Ноздрев засмеялся и ответил:

— А ты не знаешь? У меня была лошадь с голубой шерстью!

Сергей только пожал плечами.

— Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить, — повторил он.

Ноздрев продолжал рассказывать о своей лошади и других своих историях. Сергей слушал его с интересом, но все же не верил ни единому слову.

Вскоре Ноздрев предложил Сергею поехать куда-нибудь вместе. Он говорил так уверенно и весело, что Сергей не мог устоять перед соблазном.

— Давай поедem в Сочи! — сказал Ноздрев. — Там сейчас сезон, и ты сможешь позагорать на пляже!

Сергей рассмеялся:

— Ну, давай, только не забудь про билеты.

Ноздрев улыбнулся и достал из кармана несколько билетов.

— Вот, взял. Все оплачено. И даже сувениры купил на память!

Сергей был удивлен и немного растерян.

— Ну что ж, поехали! — сказал он наконец.

И они отправились в Сочи, где Ноздрев действительно провел несколько дней, рассказывая истории и играя в карты с местными жителями. В конце концов, Сергей начал понимать, что Ноздрев не так прост, как ему казалось раньше.

Вернувшись в Москву, Сергей решил поговорить о Ноздреве с другом по работе, Михаилом Лебедевым.

— Ты знаешь, — сказал он, — Ноздрев совсем другой человек. Он не так прост, как кажется на первый взгляд.

Михаил удивленно поднял брови:

— Что ты имеешь в виду?

Сергей рассказал ему о своих путешествиях с Ноздревом и о том, что он увидел там.

— Я думаю, — сказал Сергей, — что Ноздрев не просто шутник. Он как будто скрывает что-то важное.

Михаил задумался:

— Возможно, ты прав. Но почему бы нам не поговорить с ним напрямую?

Сергей согласился и они встретились с Ноздревом в одном из кафе города.

— Ну, как дела? — спросил Сергей.

Ноздрев улыбнулся:

— Все хорошо! Только вот ты что-то не так понял. Я не просто шутник. У меня есть важные планы.

Сергей и Михаил были удивлены его ответом, но решили дать ему возможность объясниться.

— Давай расскажешь нам о своих планах, — сказал Сергей.

Ноздрев вздохнул и начал рассказывать им о своем проекте по помощи беженцам из Украины. Он говорил с энтузиазмом и убежденностью.

— Мы хотим создать центр для оказания помощи, где люди смогут получить необходимую поддержку и информацию, — сказал Ноздрев. — И я уверен, что это сможет помочь многим.

Сергей и Михаил были поражены его решением.

— Это замечательно! — сказал Сергей. — Мы готовы помочь тебе в этом.

Ноздрев улыбнулся:

— Спасибо вам за поддержку. Я знаю, что это не будет легким, но вместе мы сможем сделать это.

И так Ноздрев продолжал свою историю и работу на протяжении многих месяцев, помогая тем, кто нуждался в помощи.

Между тем три экипажа уже подкатили к крыльцу дома Ноздрева. В доме никакого приготовления к их принятию не было. В столовой стояли деревянные лестницы, и два мужика, стоя на них, штукатурили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган штукатуркой. Ноздрев приказал тот же час мужиков и лестницы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на даче, и к двум часам показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать.

Прежде всего пошли они осматривать конюшню, где видели двух лошадей: одну серую с яблочками на боках, другую каурую. Потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев утверждал, что заплатил десять тысяч.

— Десять ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит.

— Ей-богу, дал десять тысяч, — сказал Ноздрев.

— Ты себе можешь божиться сколько хочешь, — отвечал зять.

— Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев.

Об заклад зять не захотел биться.

2044.

Ноздрев показал Печкину пустые конюшни, где прежде были хорошие лошади. В той же конюшне стоял козел, которого по старому поверью считали необходимым держать при лошадях. Он гулял под брюхами лошадей, как у себя дома. Затем Ноздрев повел Печкина смотреть волчонка на привязи.

— Вот волчонок! — сказал он. — Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!

Потом они отправились осматривать пруд, где, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку. Однако родственник не без удивления заметил:

— Я тебе, Печкин, покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясом просто наводит изумление, щиток — игла! — и повел их к маленькому красиво выстроенному домику, окруженному большим загороженным двором.

Войдя на двор, они увидели множество собак всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Здесь были все клички и повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был

среди них совершенно как отец среди семьи; все они тут же подняли хвосты и полетели навстречу гостям, здороваясь с ними.

Десяток из них положили свои лапы на плечи Ноздрева. Обругай оказал такую же дружбу Печкину и, поднявшись на задние ноги, языком лизнул его в самые губы, так что Печкин тут же выплюнул.

Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов — они были хорошие. Затем пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро умереть, но года два тому назад была очень хорошей сукой; осмотрели и суку — точно, она была слепая.

Потом они отправились осматривать водяную мельницу, где недоставал порхлицы, в которую утверждался верхний камень, быстро вращающийся на веретене. «Порхающий», по чудному выражению русского мужика.

— А вот тут скоро будет и кузница! — сказал Ноздрев. Они немного прошли и действительно увидели кузницу, осмотрели ее.

— Вот на этом поле, — указывая пальцем на поле, сказал Ноздрев, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

— Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять.

— А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Печкину, — границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев вел своих гостей по полю, которое во многих местах было покрыто кочками. Гости должны были пробираться между перелогам и взрыхленными нивами. Чичиков начал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою грязь, до такой степени место было низким. Сначала они осторожно переступали, но потом, увидев, что это ни к чему не приводит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, они увидели границу, состоявшую из деревянного столба и узкого рва.

— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, которым вон синееет, и все, что за лесом, все мое.

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

— Да, я купил его недавно, — ответил Ноздрев.

— Когда же ты успел его так скоро купить?

— Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал.

— Да ведь ты был в то время на ярмарке.

— Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

— Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головой.

Гости вернулись тем же ужасным путем к дому. Ноздрев провел их в свой кабинет, который, однако, не выдавал никаких следов того, что обычно бывает в кабинетах: книг или бумаги. Висели только сабли и два ружья — одно стоило триста рублей, а другое восемьсот. Зять осмотрел всё это внимательно и покачал головой. Затем были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых случайно было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». После этого появилась шарманка. Ноздрев тут же провертел пред гостями что-то в ней. Шарманка играла не без приятности, но в середине её что-то явно сломалось: мазурка окончилась песней «Мальбруг в поход поехал», а эта песня неожиданно завершилась каким-то давно знакомым вальсом. Ноздрев уже давно перестал вертеть шарманку, но внутри была одна дудка, которая очень бойко свистела и долго продолжала свистеть после того, как всё остальное замолкло.

Затем появились трубки — деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшей и необтянутые. Чубук одной из них был украшен янтарным мундштуком, недавно выигранным в лотерею. Кисет, вышитый какою-то графией, где-то на почтовой

станции влюбившейся в него по уши, был оставлен там, где его нашли — ручки были самой субдительной сюперфлю, слово, вероятно, означавшее высочайшую точку совершенства. Закусив балыком, они сели за стол около пяти часов. Обед, как видно, не был главным в жизни Ноздрева; блюда играли незначительную роль: кое-что и пригорело, кое-что и совсем не сварилось. Видимо, повар руководствовался больше каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал его, капуста ли попалась — совал её, добавлял молоко, ветчину, горох — словом, всё было готово быстро и горячо. Но вкус был не особо важен.

Ноздрев налег на вина: ещё не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому — сотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой он сам никогда не пил фельдмаршал. Мадера действительно горела во рту — купцы, зная вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли её беспощадно ромом, а иногда и царской водкой, в надежде, что всё выдержат русские желудки. Затем Ноздрев велел принести какую-то особенную бутылку, которая, по его словам, была и бургоньомом, и шампаньомом вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным: как только Ноздрев заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал свой стакан в тарелку.

В непродолжительном времени была принесена рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Затем пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить; и сам хозяин в другой раз называл его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости всё ещё сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета — все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и сидя на стуле ежеминутно клевал носом. Заметив это сам, Чичиков стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.

— И ни-ни! Не пущу! — сказал Ноздрев.

— Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду говорил зять. Ты меня очень обидишь.

— Пустяки, пустяки! Мы соорудим сию минуту банчишку.

— Нет, сооружай сам, брат, а я не могу. Жена будет в большой претензии, право. Я должен ей рассказать о ярмарке. Нет, ты не держи меня!

— Ну ее, жену, к черту! Важное дело станете делать вместе!

— Нет, брат! Она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие... поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

— Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву.

— А и вправду! — сказал Ноздрев. — Смерть не люблю таких растепелей! — и прибавил вслух: — Ну, черт с тобой, поезжай бабиться с женой, фетюк!

— Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, — отвечал зять. — Я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке, нужно все рассказать, такая, право, милая.

— Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

— Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая.

— Ну, так и убирайся к ней скорее!

— Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу.

Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке.

— Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. — Вон как потащился! Конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтись. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

— А что брат, — говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

— А! Чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Дай прежде слово, что исполнишь.

— Да какая просьба?

— Ну, да дай слово!

— Изволь.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?

— Ну есть, а что?

— Переведи их на меня, на мое имя.

— А на что тебе?

— Ну да мне нужно.

— Да на что?

— Ну да уж нужно... уж это мое дело, — словом, нужно.

— Да к чему ж ты не хочешь сказать?

— Да что же тебе за прибыль знать? Ну, просто так, пришла фантазия.

— Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

— Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор.

— Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

Чичиков задумался на минуту. Затем он объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения веса в обществе, что у него нет больших поместий и что хоть бы какие-нибудь душонки могли бы ему помочь.

— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не дав его закончить. — Врешь, брат!

Чичиков заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

— Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись, — только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбициозные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтоб у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутора ста крестьян недостает...

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.

— Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

— Голову ставлю, что врешь!

— Однако ж это обидно! Что же я такое в самом деле! Почему я непременно лгу?

— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

— Ей-богу, повесил бы, — повторил Ноздрев, — я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

— Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы, — и потом присовокупил: — Не хочешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорош! Смотри ты! Что они у тебя бриллиантовые, что ли?

— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение. Ты бы должен просто отдать мне их.

— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

— Как на что? Да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

— Да на что мне жеребец? Завода я не держу.

— Ну, послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

— Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

— Ну, купи каурюю кобылу.

— И кобылы не нужны.

— За кобылу и за серого коня, которого ты видел, возьму я с тебя только две тысячи.

— Да не нужны мне лошади.

— Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

— Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! Брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет.

— Да зачем мне собаки? Я не охотник.

— Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в полторы тысячи. Тебе отдаю за девятьсот рублей.

— Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы тащиться с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

— Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схватив Чичикова за руку, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. — Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи.

— Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

— Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только пере-красишь, и будет чудо бричка.

«Эк его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решил во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и комкость лап.

— Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, все вместе!

— Не хочу, — сказал еще раз Чичиков.

— Отчего ж ты не хочешь?

— Оттого, что просто не хочу, да и полно.

— Экой ты, право, такой! С тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек!

— Да что же я, дурак, что ли? Ты посуди сам: зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?

— Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.

— Ну, решаться в банк, значит подвергаться неизвестности, — говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно.

— Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности! Будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! Экое счастье! — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. — Экое счастье! экое счастье! Вон: так и колотит! Вот та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.

— Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, а вовсе не охотник играть.

— Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

— Потому что не охотник.

— Дрянь же ты!

— Что ж делать? Так бог создал.

— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким... Ни прямоты, ни искренности! Совершенный Собакевич, такой подлец!

— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздора.

— Черта лысого получишь! Хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с какой-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:

— Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву... Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни — нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я», — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

— Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо.

— А я, брат, — говорил Ноздрев, — всю ночь мерзость лезла, что гнусно рассказывать. Во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Снилось, что меня высекли, ей-ей! А кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

— Ей-богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается. Верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда он вышел из нее, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; половая щетка явно не притрагивалась. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши. — Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В бантик — другое дело. Прокинем хоть талию!

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которые нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастья или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев.

— Это с какой стати? Конечно, ничего.

— По крайней мере пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвинув шашку и в то же время откинув рукав, чтобы показать другую.

— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! Это что? Отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то, — сказал Чичиков и увидел перед собой другую, которая казалась пробирающейся к дамкам; откуда она взялась, это только бог ведает. — Нет, с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!

— Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал и все помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как, где место? — сказал Ноздрев, покраснев. — Да, ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня считаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутоватать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться, — горячась сказал Ноздрев, — игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать, — сказал Чичиков хладнокровно и подошел к доске, смешав шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставляю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая еще ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес обе руки поближе к лицу, ибо дело становилось жарким.

Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой... и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы

несмываемым бесчестьем; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе руки и держал его крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услышав эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать, — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два крепких парня.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

— Если бы ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он испуганно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за-облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном костюме, вылезал из телеги.

Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение: вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в истории, связанной с нанесением помещику Максиму личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! Я и в глаза не видел помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне!

Здесь Чичиков, не дожидаясь ответа Ноздрева, быстро надел шапку и выскользнул из брички за спину капитана-исправника на крыльцо. Он сел в свою новую электрокар и велел Селифану погнать лошадей во весь дух.

Глава пятая

Герой наш тухнул, однако ж, порядком. Хотя его электрокар мчался во всю пропасть и деревня Ноздрева давно унеслась из виду, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк какую баню задал! Смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому же дело было совсем нешуточное. «Что ни говори, — сказал он сам в себе, — а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экой скверный барин! — думал про себя Селифан. — Я еще не видел такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не давай есть, а коню ты должен кормить, потому что конь любит овес. Это его продовольствие: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздрева: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый были не в духе. Хотя ему на часть всегда доставался овес потуже и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!» — но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено. Он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особенно когда Селифана не было в конюшне, но теперь одно сено... нехорошо; все были недовольны.

1766.

Но вскоре все недовольные были прерваны внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая самого кучера, очнулись только тогда, когда на них наскочила коляска с шестериком коней. Сидевшие в коляске дамы раздали крик бранью и угрозами: «Ах ты мошенник эдакой; ведь я тебе кричала в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность. Русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, поэтому тут же вымолвил: «А ты что так расакалась? Глаза-то свои в кабаке заложила, что ли?» Вслед за этим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться из чужой упряжи. Но не тут-то было: все перепуталось.

Чубарый с любопытством обнюхивал новых приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая — молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал ее лица круглился, как свеженькое яичко, и белел прозрачной белизной, когда свежее, только что снесенное, держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца. Ее тоненькие ушки также сквозили, рдея теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — все это было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кри-

дом с мезонином, красной крышей и темными или, лучше сказать, дикими стенами — дом вроде тех, как сейчас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие этого заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкой и непомерно толстой деревянной решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сарай и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво: не было кирпичных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке.

Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались.

На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу» — и повел его во внутренние жилища.

Когда Чичиков взглянул на Собакевича сбоку, он увидел в нем что-то похожее на среднего медведя. Фрак Собакевича был совершенно медвежьего цвета, рукава были длинные, как и панталоны, и он постоянно ступал на чужие ноги, словно не замечая их. Его лицо было каленым, горячим, как на медном пятаке. Натура явно не тратила много времени на отделку такого лица: просто рубила со своего плеча —хватила топором раз — вышел нос,хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и пустила на свет. Такой же крепкий и неуклюжий образ имел Собакевич: держал он голову более вниз, чем вверх, шеей почти не ворочал и редко глядел на собеседника, предпочитая смотреть на угол печки или дверь. Чичиков еще раз посмотрел на него сбоку, когда они проходили столовую: медведь! Совершенный медведь! Такое странное сближение было необычным: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку Собакевича наступать на ноги, Чичиков очень осторожно передвигал свои и давал ему дорогу вперед.

Хозяин, казалось, чувствовал за собой этот грех и спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Чичиков поблагодарил его, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Войдя в гостиную, Собакевич указал на кресла и сказал: «Прошу!». Садясь, Чичиков взглянул на стены и картины, висевшие там. На картинах все были молодцы, греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире с очками на носу, Миаули, Канами. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи здоровым и крепким человеком, хотел, чтобы и комната его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка с дроздом темного цвета с белыми крапинками, очень похожим на Собакевича.

Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка — высокая дама в чепце с лентами, перекрашенными домашней краской. Она вошла степенно, держа голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы. Он заметил, что руки были вымыты огуречным рассолом.

— Душенька, рекомендую тебе, — продолжал Собакевич, — Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мерининовым платком и уже не двинула более ни глазом, ни бровью.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке. almost five минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагает начинать разговора, — в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.

— А прекрасный человек!

— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

— Председатель.

— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!

— Губернатор превосходный человек?

— Да, не правда ли?

— Первый разбойник в мире!

— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. — Признаюсь, этого я бы никак не подумал, — продолжал он. — Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. — Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!

«Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. — А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».

— Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.

— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все хриstopродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

Чичиков вздохнул и решил перейти к другому вопросу:

— А как вы думаете, Собакевич, что будет с городом? Война уже близко, и все говорят о мобилизации. Как вы считаете, мы скоро будем на фронте?

Собакевич пожал плечами:

— Не знаю, Чичиков. Может быть, и нет. Но если война начнется, то это будет ад на земле. Всякие там разговоры о превосходных людях — все это ерунда. Главное — выжить.

Чичиков кивнул, понимая серьезность ситуации:

— Вы правы. Но надеюсь, что у нас все будет хорошо. Мы ведь вместе сражались в прошлом году, и я знаю, что вы не боитесь трудностей.

Собакевич улыбнулся слабой улыбкой:

— Да, мы были молоды тогда. Теперь уже не то. Но если придется, будем держаться как можем.

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

— Душенька, пойдем обедать, — сказала его супруга Собакевичу.

— Прощу! — ответил Собакевич.

Засим они подошли к столу, где была закуска. Гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как это делает вся Россия по городам и деревням: солеными огурцами, маринованными грибами и другими вкусностями, которые возбуждают аппетит. Затем все отправились в столовую; хозяйка шла впереди, как плавный гусь.

Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая — дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Они сидят на том же месте, одинаково держат голову и почти готовы принять за мебель; ты думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнув щей и отвалив себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгами и ножками. — Эдакой няни, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

— У губернатора, однако ж, недурен стол, — сказал Чичиков.

— Да знаете ли, из чего это все готовится? Вы есть не станете, когда узнаете.

— Не знаю, как готовится, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

— Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подаст на стол вместо зайца.

— Фу! Какую ты неприятность говоришь, — сказала супруга Собакевича.

— А что ж, душенька, так у них делается. Я не виноват, так у них у всех делается. Все, что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

— Ты за столом всегда эдакое расскажешь! — возразила опять супруга Собакевича.

— Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая сутки по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это все не то, это всё выдумки, это всё... — Здесь Собакевич даже сердито покачал головой. — Толкуют: просвещение, просвещение, а это просвещение — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. — Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура».

— У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфеткой руки, — у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

— Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков.

— Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

— Вправду! — подхватил с участием Чичиков. — И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

— Как мухи мрут.

— Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

— В пяти километрах.

— В пяти километрах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. — Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

— Я вам даже не советую дорогу знать к этой собаке! — сказал Собакевич. — Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.

— Нет, я спросил не для чего-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, — отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комком в желудке. Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжесть на целый килограмм больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюде варенье — ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла, с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только побряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

— Я хотел поговорить с тобой об одном деле.

— Вот еще варенья, — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, — редьки, варенные в меду!

— А мы это после! — сказал Собакевич. — Ты пошли теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем разделимся и отдохнем немного!

Хозяйка уже хотела отправиться за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», — и хозяйка ушла.

Собакевич слегка наклонил голову, приготовившись услышать, о чем речь.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и выразил похвалу его просторам. Сказал, что даже древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич все слушал, наклонив голову. И что по существующему положению этого государства, в славе которому нет равных, ревизские души, окончившие жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтобы таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность уже весьма сложного государственного механизма... Собакевич все слушал, наклонив голову, — и что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их вносить подати так, как за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал все по-прежнему, нагнув голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такую толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

— Итак?.. — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

— Вам нужны мертвые души? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавив: — несуществующих.

— Найдутся, почему не быть... — сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения, будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать, — сказал Собакевич, уже несколько приподняв голову и смекнув, что покупатель, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми, — подумал Чичиков про себя, — этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена? хотя, впрочем, это такой предмет... что о цене даже странно...

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сто рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, однако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положи на руку на сердце: по восемнадцати тысячам за душу, это самая красная цена!

— Эх куда хватили — по восемнадцати тысячам!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двадцати тысячам ревизскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими? Ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по пятнадцати тысячам, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! Вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, — говорил Чичиков, однако ж по пять тысяч еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич. — Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! Ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, — прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех метров ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в любом доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! Да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятьсот тысяч рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

— Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, — зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, кто они в самом деле были уже мертвые, а потом добавил: — Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди.

— Да все же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что ни ответа, ни мнения, ни подтверждения не услышит, но на которого так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать, — сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства!

«Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака что ли принимает меня?» И прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия. Иначе я не могу себе объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.